

DOI: <https://doi.org/10.25146/2587-7844-2021-16-4-94>

УДК 821

СИБИРСКАЯ СТЕПЬ В ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ МОДЕРНА (КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ – МАРИНА ЦВЕТАЕВА)

С.Ю. Корниенко (Новосибирск, Россия)

Аннотация

Постановка проблемы. Проблематика статьи обращена к способам культурного освоения в русском модернизме обширных сибирских степей, способам преодоления культурной энтропии.

Цель статьи – описание параметров «степных» текстов М. Цветаевой и К. Бальмонта, выявление их культурной генеалогии.

Обзор научной литературы по проблематике связан с решением конкретных задач: выявлением способов авторизации сибирского текста в поэтике конкретного автора (работы А. Смит, Е. Коркиной, В. Мароши и др.).

Результаты исследования. Статья посвящена сибирским текстам К. Бальмонта и М. Цветаевой. В сборнике Бальмонта «Голубая подкова. Стихи о Сибири» переживание сибирских степей выстраивается вокруг концептов «дали», «шири», «свободы», в принципе характерных для поэзии Бальмонта. В поэме Цветаевой «Сибирь» степная тема возникает дважды: в экспозиции поэмы, а также во второй части (образ Барабинской степи). Источниками цветаевской степной образности может считаться своеобразно прочитанное ею блоковское «скифство», непосредственный эмпирический опыт переживания крымских степей, а также увлеченность в момент написания поэмы евразийской теорией.

Выводы. Пространственная энтропия не становится для художника модернистской формации препятствием в культурном освоении пространства, каждый поэт создает собственный образ сибирских степей исходя из доступного поэтического инструментария, синтезируя творческие методы.

Ключевые слова: *сибирский текст, степная тема, Цветаева, Бальмонт, поэма «Сибирь», сборник «Голубая подкова. Стихи о Сибири».*

Постановка проблемы. Западно-Сибирская равнина, и локально Барабинская степь, по сравнению с прочими сибирскими локусами оставалась к началу XX в. эстетически неосмысленной и неосвоенной, так как культурная колонизация значительно опаздывала по сравнению с колонизацией политической. Обширная земля, расположенная в междуречье между Иртышом и Обью (Обской бассейн), по которой был проложен Сибирский тракт, а в 1910-е гг. XX в. железнодорожный Великий Сибирский путь, неминуемо преодолевалась любым путешественником, стремящимся в Японию и Китай, к сокровищам и рудникам Восточной Сибири, а также в сибирское «эльдorado» (Н. Ядринцев) – плодородный Алтай. Однако транзитный характер, протяженность и энтропичность пространства сопротивлялись его культурному освоению.

Неустойчивость и противоречивость сибирского текста, в котором сливались идея вольной жизни на свободной земле и рабского труда на вечной каторге, должны были привлекать поэтов-модернистов новыми возможностями письма, но сибирская тема в творчестве российских писателей так и не освобождается от предсказуемых штампов и клише. Для абсолютного большинства литераторов отдаленная Сибирь предстает в качестве виртуального пространства (фантазийной «возможной Россией»), объектом для поэтического визионерства и мрачных пророчеств по поводу собственного будущего. В этой же логике литературного колониализма осваиваются и обширные сибирские степи. *Целью* нашей статьи является описание стратегий поэтического освоения сибирских степей двумя поэтами-модернистами: символистской и постсимволистской генеалогии.

Результаты исследования, обзор научной литературы по теме, методология работы определяются материалом исследования. Наиболее показательным в предмодернистский период является опыт Чехова, проехавшего по Барабинской степи по пути на Сахалин (туда и обратно). Майские впечатления 1890 г. представлены в личных письмах писателя и путевых заметках (очерк «Из Сибири»). Чехов переживает сибирскую равнину как «сплошную безотрадную пустыню», начинающуюся от Екатеринбурга и заканчивающуюся «черти где» – пустоту, по которой бродит «лихой человек» [Чехов, 1976, с. 76–78]. Очевидной сибирской бедой, по Чехову, являются холод и чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, без которых Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей. Любопытно, что размышления о богатстве/сокровищах, прежде всего человеческих (так, сибирские татары аттестуются писателем как «люди хорошие» – «лучше русских»), возникают у Чехова на фоне острых переживаний пространственной энтропии [Там же, с. 82]. Чеховская оптика удивительно конгениальна пространственной формуле России Андрея Белого. Герой романа «Петербург» Аполлон Аполлонович Аблеухов путешествует в Японию чеховским маршрутом и видит уже не столько Сибирь, а всю Россию как «ледяную равнину, по которой много сот лет, как зарыскали волки...» [Белый, 1981, с. 78].

Среди немногих классиков русского модернизма, посетивших сибирские земли, особо выделяется самый путешествующий поэт-символист Константин Бальмонт. В Сибири поэт побывает дважды: в 1915 г. он доедет до Омска, где жил его родной брат Михаил, а уже в следующем 1916 г. будет задумана и осуществлена поездка по недавно завершеному Великому Сибирскому пути. Сибирская программа 1916 г. (выбор городов для выступлений, посещение природных достопримечательностей) полностью подчиняется задачам транзита. Поэтом Бальмонт даст концерт в молодом, но амбициозном сибирском городке Новониколаевске (будущей столице Сибири – Новосибирске) и в конечном итоге проедет мимо воспетого поэтами и запечатленного художниками Алтая, отдаленного от основного вектора путешествия.

Уже в эмиграции, в 1935 г., Бальмонт издаст небольшую книгу стихов «Голубая подкова. Стихи о Сибири» [Бальмонт, Цветаева, 2019]¹, куда частично войдут

¹ Здесь и далее стихотворения К. Бальмонта приводятся по этому изданию.

стихотворения, написанные в поезде на обратном пути из Японии и несущие отблеск дневниковых впечатлений и переживаний разнообразных сибирских мест (Амур, Байкал, горящая тайга), мелькающих за окнами вагона и всплывающих в памяти лирического героя. Например, стихотворение «Тайга» с эффектным метафорическим образом разбушевавшейся огненной стихии как космогонического действия («огнистых змеев льется пенье») имеет датирующую запись «Подъезжая к Омску, 29 мая», когда забайкальская тайга осталась далеко позади и поэт опять, как и по дороге туда, «утопал» в «каких-то бесконечных далях» обширной Западно-Сибирской равнины. «Катя милая, – пишет Бальмонт своей бывшей жене Е. Андреевой-Бальмонт, – я утопаю в каких-то бесконечных далях. Ехали две ночи и три дня, буду ехать еще третью ночь и лишь утром приеду в Новониколаевск. Впервые узнаю не мыслью, но ощутительно-телесно, как непомерно велика Россия...» [Андреева-Бальмонт, 1997, с. 478].

«Голубая подкова» в части стихотворений 1916 г. выстроена как позднесимволистская книга, наполненная «бальмонтизмами» – поэтическими формулами и клише, в принципе характерными для поэзии Бальмонта. Стихотворение «Вскрытие льда» читатель начала XX в. легко прочитывал через узнаваемые метафоры творчества, включающие как дионисийские («вино, / пьяная брага», «пьянственный хмель»), так и аполлонические («музыка снов») компоненты. Причудливый синтез бодлеровско-гюисмансовского образа «леса как собора» с древнерусской легендой о невидимом граде Китеже можно увидеть в стихотворении «Над Байкалом». А в московском «Оконце» образ «довременной Сибири» неожиданно возникает как тень, воспоминание, ментальная проекция в духе платоновского мифа о Пещере.

Письма Бальмонта, которые он писал своей жене во время сибирских путешествий 1915 и 1916 гг., передают внутреннюю конфликтность его Сибири. «Тишина, снег и ледяные узоры», «бесконечные дали», открытие Сибири как «солнечной страны» [Там же, с. 480] – подобные формулы как способ переживания пространства формируют позитивную программу его впечатлений. Однако во время выступления в Новониколаевске произойдет негативный инцидент: начальница местной женской гимназии запретит своим подопечным посещение концерта Бальмонта. Раздосадованный поэт выразит свой протест публикацией небольшой заметки на страницах местной газеты «Алтайское дело». Заметка начинается настоящим гимном сибирякам и Сибири, в котором свободолюбие сибиряков прямо объясняется географическим ареалом обитания («размахом пространства», максимально ощутимым именно в степи): «Я впервые приезжаю в настоящую Сибирь, – в прошлом году я был лишь в Тюмени и Омске. Мне нравится сибирская ширь и даль. Размах пространства не только чарует сам по себе, но и создает в человеческой душе ощущение свободы. И на самом деле, сибиряки в общем производят впечатление более свободных людей, чем русские». Тем досаднее для поэта оказывается – на этом позитивном фоне – «пример необъяснимого и произвольного душевного рабства», проявленный начальницей гимназии [Бальмонт, Цветаева, 2019, с. 57].

Уже из Читы уставший Бальмонт, еще во время первой поездки отметивший «тяжеловесность» сибиряков, напишет: «Так страшно несоразмерны города. Иркутск, например, мне очень не понравился, что-то в нем противное, хотя публики было много. Здесь публики меньше, но я чувствую настоящих людей. Но, вообще, Сибирь не моя страна» [Андреева-Бальмонт, 1997, с. 481].

Дискуссии о Сибири – как «месте силы» / «вольной земле», с которого может начаться преобразование всей России, продолжатся и в эмиграции, в том числе на страницах близких модернистам пражских журналов – «Воля России» и «Вольная Сибирь». Марина Цветаева, в отличие от Константина Бальмонта, никогда не бывала в Сибири. В ее опыте не было ни непосредственных переживаний бескрайних сибирских пространств, ни значимых встреч с сибиряками. Однако интерес Цветаевой к сибирской истории совершенно неслучаен, он возникает во время работы над масштабным эпическим полотном – «Поэмой о Царской Семье». Большая поэма впоследствии будет утрачена, но ее обособленная часть, посвященная ярким страницам сибирской истории XVI–XVIII вв., выйдет в журнале «Воля России» в 1931 г. под названием «Сибирь».

Исторические источники «Поэмы о Царской Семье», связанные непосредственно с царской семьей, указаны Е.Б. Коркиной [Коркина, 1992]. Что же касается источников знаний Цветаевой о сибирской истории, то документальных свидетельств (указаний в письмах, тетрадях, записных книжках) не выявлено. Список возможных источников во многом носит характер допустимых, учитывая, что Цветаева пишет поэму в Медоне, пригороде Парижа и регулярно посещает Тургеневскую библиотеку, в которой был аккумулирован обширный исторический материал. Если история завоевания Сибири и первого этапа колонизации представлена и у Н. Карамзина в «Истории государства Российского», и в известном многотомном труде С. Соловьева, то сибирскую историю любимого Цветаевой XVIII в. можно узнать уже из специальных исторических исследований. Первичными источниками для многочисленных сочинений, посвященных истории Сибири, были открытые еще академиком Г. Миллером сибирские летописи XVII в. Полный свод тобольских летописей, который мог быть доступен Цветаевой, был опубликован под названием «Сибирские летописи» в 1907 г.

Остается непроясненным вопрос, читала ли Цветаева труднодоступные труды академиков XVIII в. Г. Миллера и И. Фишера, чьи фундаментальные исследования по истории Сибири станут основой для возможно ей известных изложений историков XIX в. – П. Словцова и В. Андриевича. Безусловно, поэта, пишущего историю царской семьи, должны были интересовать и краеведческие работы, посвященные городу Тобольску. Таким источником, предположительно ставшим стимулом для цветаевского поэтического и исторического визионерства (Цветаева никогда не бывала в Тобольске, как и – шире – в Сибири), удивительно совпадающим с текстом поэмы «Сибирь» на уровне многочисленных деталей, можно считать книгу публициста К. Голодникова «Город Тобольск и его окрестности» [Город Тобольск и его окрестности, 1886].

Поэма «Сибирь» двучастна: первая часть (в перспективном плане поэмы обозначена как «Сибирь воевод») представляет собой обширную зарисовку вольных нравов допетровской Сибири, во второй части явлена Сибирь XVIII в. История Сибири в век больших биографий персонифицированно представлена яркими судьбами трех губернаторов – Матвея Гагарина, Федора Соймонова и Дениса Чичерина.

Степная тема занимает важное место в структуре цветаевской поэмы. Уже в первой строфе возникает эффектный образ «кобыл степных», генерирующий необузданное движение в качестве основного экспозиционного импульса этой очевидно авангардной поэмы Цветаевой.

Казацкая, татарская
Кровь с молоком кобыл
Степных... Тобольск, «Град-Царствующ
Сибирь» – забыл, чем был?

Посадка-то! лошадка-то!
А? – шапка высока!
А шустрота под шапкой-то!
– С доставкой ясака.
[Бальмонт, Цветаева, 2019, с. 7]².

Одним из очевидных источников цветаевской степной образности является освоенное и частично присвоенное Цветаевой блоковское «скифство»³, в этом эпизоде поэмы выраженное в прямой реминисценции из хрестоматийного блоковского цикла «На поле Куликовом» («И вечный бой! Покой нам только снится / Сквозь кровь и пыль... / Летит, летит степная кобылица / И мнет ковыль...») [Блок, 1971, с. 158]. Евразиец Петр Сувчинский, входивший в близкий круг Цветаевой, в своей статье «Типы творчества (Памяти А. Блока)» сравнивал этот блоковский образ с космогоническо-эсхатологическим стихийным комплексом пушкинского «Медного всадника»: «Несущаяся кобылица – это безличное, сорвавшееся и понесшееся стихийное начало. Все несется – не только она, – и тучи, и пыль, как будто и кровавый закат тоже поднялся на гигантских крыльях!» [Сувчинский, 1922].

Вторым источником, уже следующего порядка, становятся собственные «степи», «кони» и «кобылицы»: поэтическая смертоносная «поющая» сизая степь в «Пела рана в груди у князя...» [Цветаева, 1990, с. 398–399], отсылающая к мифологеме эоловой арфы, а также метафоричная «степная кобылица – разлука» («Я вижу тебя черноокой, – разлука...»), появляющаяся в «сказочной» строфе

² Здесь и далее текст поэмы М. Цветаевой «Сибирь» дается по этому изданию.

³ О скифстве в связи с панмонгольским мифом русской литературы см. статью В.В. Мароши [Мароши, 2003, с. 48–54].

наряду с «филин-птицей» и «серым волком» [Цветаева, 1982, с. 291–292]. В цветаевском поэтическом тезаурусе степь предстает как сказочное инфернальное пространство, а также как метапоэтический универсум.

Третий источник – крымские поэтические степи (в частности, Феодосия и Коктебель), их переживание в качестве непосредственного собственного эмпирического опыта. Во многом оптику восприятия еще юной Цветаевой крымских степных пространств («земель Восточного Крыма») сформировал ее литературный наставник М. Волошин. В его эстетической логике очевидная энтропичность пространства – не ущерб, а максимальный поэтический потенциал, так как настоящая жизнь подлинного художника связывается с теми «областями на земле», которые «внушают сиротливую, безнадежную любовь к себе». По Волошину, творчество демиурга-художника, преодолевающего неизбывную тоску о Золотом веке, заключается не в «повторении, воссоздании красоты природы», а в преображении – окончании незаконченного, «наполнении пустоты, оставшейся в природе»: «Должна быть особая строгая бедность земли, чтобы пробудилось творчество и искусство получило мощную полноту и подобающий пафос. Великие рассветы искусства были созданы в бронзовой наготе скудных долин Греции, в скромной простоте долин Тосканы и в унылом однообразии римской Кампаньи» [Волошин, 2007, с. 89–90].

И наконец, степная тема – в поэтическом и политическом изводе – чрезвычайно актуальна для близкого Цветаевой евразийства. Это политическое движение во второй половине 1920-х гг. попадает в орбиту цветаевских интересов⁴. Так, евразийский альманах Версты (1926–1928) выходил с ее именем на обложке (вместе с именами Д.П. Святополк-Мирского, П.П. Сувчинского, С.Я. Эфрона, а также Алексея Ремизова и Льва Шестова). А в 1929 г. выступление Цветаевой на страницах газеты «Евразия» с небольшим приветствием – поверх барьеров – советскому поэту Маяковскому окажется триггером, обнажившим противоречия в евразийском сегменте эмигрантского политического поля⁵. Последствием внутриевразийской дискуссии станет раскол в евразийском движении на правых и левых евразийцев (к этой группе принадлежали друзья поэта, в том числе и ее муж С. Эфрон). Последние в дальнейшем поддержат сталинский политический проект, прозревая в нем «ордынский» идеал – империю восточно-деспотического типа. В симптоматичной для этого направления статье Д.П. Святополк-Мирского, написанной в канун эпохи великого перелома, конкурентное преимущество Советской России по отношению к дореволюционной «дворянско-буржуазной государственности» видится в свободе от европейского «индивидуализма и правового формализма»; сильными сторонами сталинского проекта Святополк-Мирский считает понимание государства как «власти хозяина», а также коллективизм нового типа [Святополк-Мирский, 1929, с. 2].

⁴ См. работу А. Смит и дискуссию вокруг доклада [Смит, 2002].

⁵ О евразийском расколе 1929 г. и роли в нем заметки Цветаевой см. [Шевеленко, 1994].

Цветаевский извод евразийства парадоксален. Поэт резко не принимает «ордынство» как политическую практику (раскол в евразийстве и дальнейший просоветский крен в настроениях семьи обособил позицию Цветаевой: «Все меня выталкивает в Россию, в которую я *ехать* не могу. Здесь я *не нужна*. Там я *невозможна*» [Цветаева, 2008, с. 142]⁶), однако оказывается предельно очарованной «ордынством» эстетическим. Ее евразийская фантазия выстраивается вокруг концептов «воли», «свободы», «кочевья», в эпицентре которой оказывается воображаемая вольная Сибирь XVI–XVII вв., а не империя деспотического (ордынского) типа («государственно-принудительный центр»⁷), спасение в которой определило сменовеховский вектор левого евразийства.

В актуальной для Цветаевой работе Г.П. Федотова «Три столицы» история Руси осмысливается как «вечная борьба со степью» («Диким Полем»), в столкновениях и сближениях с которой возникает «новая русская душа», а в процессе ее освоения формируется «русский характер»:

«В степях сложилось казачество (даже имя татарское), которое своей разбойной удалью подарило Руси Дон и Кавказ, Урал и пол-Азии. В степях сложился и русский характер, о котором мы говорим всегда, как о чем-то исконном и вечном. **Ширь русской натуры** и ее безволие, безудержность, **порывистость**, – и **тоска**, и тяжесть, и жестокость. Ненависть к рубежам и страсть к безбрежному. Тройка („и какой же русский не любит быстрой езды”), кутежи, **цыганские песни**, „бессмысленный русский бунт” и мученический подвиг, и **надрыв труда**»⁸ [Федотов, 1926, с. 157–158].

Для концептуальных построений евразийцев характерно уподобление русской экспансии в Сибирь походам Великих Монголов, причем единственным существенным отличием русских казаков оказывается способность колонизовать отвоеванные пространства. В статье П.М. Бицилли «„Восток” и „Запад” в истории старого света» подчеркивается, что «продвижение России в Среднюю Азию, в Сибирь и в Приамурский Край, проведение Сибирской железной дороги – все это с XVI в. и до наших дней составляет проявление одной и той же тенденции. Ермак Тимофеевич и фон Кауфман или Скобелев, Дежнев и Хабаров – продолжатели великих монголов, пролагатели путей, связующих Запад и Восток, Европу и Азию, „Та-Тзин” и Китай» [Бицилли, 1922]. А в работе П.Н. Савицкого «Степь и оседлость» вводится общее для русской и монгольской цивилизации понятие – «ощущение континента», противопоставленное европейскому «чувству моря»:

«Действием ли примера, привитием ли крови правящим, они (монголы. – С.К.) дали России свойство организовываться военно, создавать государственно-принудительный центр, достигать устойчивости; они дали ей качество – становиться могущественной „ордой”».

⁶ Курсив Цветаевой. Письмо от 25 февраля 1931 г. См. в другом письме тому же адресату: «Сергей Яковлевич совсем ушел в Советскую Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет» [Цветаева, 2008, с. 166].

⁷ Понятие П.Н. Савицкого.

⁸ Полужирный шрифт наш. – С.К.

Быть может, не только это, не одну жестокость и жадность, нужно было иметь, чтобы из Внешней Монголии пройти до Киева, Офена, Ангоры и Ангкоса. Для того чтобы это сделать, нужно было ощущать по особому степи, горы, оазисы и леса, чуют дерзание безмерное. Скажем прямо: на пространстве всемирной истории западноевропейскому **ощущению моря** как равноправное, хоть и полярное, противостоит единственно **монгольское ощущение континента**; между тем в русских «землепроходцах», в размахе русских завоеваний и освоений – тот же дух, то же ощущение континента. Но монголы, в собственном смысле, не были «колонизаторами», и русские являются ими: доказательство. В ряду многих, что всецело к «монгольству» никак не свести Россию»⁹ [Савицкий, 1922].

В поэме Цветаевой образ Сибири предстает как своеобразный зверино-первобытный «рай», где не действует государев закон, но уже проникли первые русские люди. При этом Сибирь осмысливается как пространство естественного закона (беззакония – с позиции метрополии), а в русских казаках начинают максимально проявляться ордынские черты, не только на уровне «замеса кровей», но и социального поведения.

«А шустрота под шапкой-то! / – С доставкой ясака» – в этих строках Цветаева отражает исторический факт – своеобразную практику сбора ясака в период первичной колонизации, а также дикие нравы казаков, возводимые Цветаевой к их синтетической генеалогии. По обычному праву XVII в., как отмечал сибирский историк П. Словцов, «ясак, однажды взятый, влек за собой вечную обязанность подданства, сколько крат не изменили бы обясаченные. И за это правило Сибирь не щадила своей крови и устояла в правиле» [Словцов, 1838, с. 57–58]. Функция сборщиков этого вида подати была возложена на отряды казаков, нередко злоупотреблявших делегированной им властью. Для пресечений различных злоупотреблений потребовался отдельный указ Бориса Годунова, которым сборщикам налога строжайше запрещалось «брать себе на поминки, из обещаний рассрочки и возить за собою товары, для подмены рухляди (выделанных шкур животных. – С. К.) высокоценной на плохую, которую они достают за свои лоскутья» [Там же, с. 33]. В XVII в. данная проблема оставалась так и нерешенной. Обязанностями властей (по казенному управлению) было: «Казну мягкой рухляди собирать с ясачных без оплошности; не присваивать себе шкур высокой цены и не давать сборщикам пользоваться от сборов, высылая им навстречу верных людей, ко времени возвращения из волостей. Не заменять жалованья дачей рухляди, а всю сполна отправлять в Москву» [Там же, с. 48].

Еще один исторический факт, обращенный Цветаевой в поэтический образ: «Казачки женок сманенных / Проигрывали в зернь», – отражает вольные нравы допетровской Сибири. Эту поведенческую деталь из быта сибирских колонистов

⁹ Полу жирный шрифт наш. – С.К. Концепты панмонголизма в евразийском изводе, выделенные евразийцами («чувство континента» в пику европейскому «чувству моря», «страсть к безбрежному», парадоксальность и трансгрессивность), во многом почти дословно совпадают с формулами цветаевского поэтического самоописания.

XVII в. П. Словцов объясняет особой восприимчивостью казаков к различным влияниям, в том числе со стороны колонизируемых культур:

«Чувственное житье магометан и идолопоклонников, не осуждаемое ни верованиями, ни их нравами, бессемейность казаков, одиночками отправлявшихся в страну нехристианскую, военная и удалая их жизнь, одурелость промышленников, давно с роднею расставшихся, падкость к прибуткам, выдуманная безгрешность обирать и обсчитывать некресть, наконец, новая покаторость к смелостям после государственного потрясения, там и сям заявившая себя, и веселая беззаботность, пенившаяся из кружечных дворов, в 1617 г. в Сибири открытых, представляла при безгласности приходского духовенства картину жизни языческой.

Казаки, увлекшись обычаем многоженства, вздумали иметь жен не одних, то чрез обольщения из России привозимых, то понимаемых в улусах и особо содержимых по городам и на отъезжих постах; но тех и других, иногда венчанных по воеводским приказам, они закладывали и мало заботились о выкупе их и участи детей» [Словцов, 1838, с. 52, 53].

На страницах популярной книги К. Голодникова, высоковероятно прочитанной Цветаевой, образ «анархического рая» – сибирской вольницы без церковного и государева «пригляда» – также находит свое описание. Тобольский публицист, в отличие от историка Словцова, не подвергает сибирские нравы моральной обструкции и описывает их с позиции чистого наблюдателя:

«Отправляясь в Москву для доставления ясака или по другим делам, сибирские казаки женились в России по несколько раз, а также щеголяя там в лисьих и дорогих шубах, хвастались своим богатством и посредством разных обольщений сманивали и увозили с собою в Сибирь не только девиц, но и молодых замужних женщин. По возвращении же в Сибирь лишних жен и похищенных девиц они проигрывали в зернь (кости и карты), закладывали в нескольких рублях или даже продавали другим холостым обывателям» [Город Тобольск и его окрестности, 1886, с. 39].

И наконец, отметим еще один эпизод в поэме с эффектным образом уже конкретной локации – Барабинской степи. Этот локус появляется во второй – имперской – части поэмы в связи с «парадом сибирских губернаторов» любимого Цветаевой XVIII в., в частности с представлением в поэтической форме результатов неукротимой деятельности губернатора Дениса Чичерина. Именно с именем этого губернатора связывается окончательная колонизация Барабинской степи, знаменующая продвижение фронта и, следовательно, цивилизационный рывок от первобытной культуры охотников и собирателей к земледельческому освоению Западной Сибири:

...Зато уж и крепко
Любила тебя
Та степушка, степка
Та, степь-Бараба,

Которую – версты
Строптивых кобыл! –
Ты, ровно бы горстью
Соля, – заселил.
[Бальмонт, Цветаева, 2019, с. 10].

Среди историков Сибири к первой половине XX в. по отношению к фигуре Чичерина не выработался консенсус. В многочисленных источниках подчеркивается прагматизм управления (совершенствуется налоговая система как для русских переселенцев, так и для коренного «ясачного» населения), экономические реформы (вводятся элементы капиталистического хозяйства), расширение границ освоенных земель (заселяется сибирский тракт, в том числе малонаселенная Барабинская лесостепь) – все это прямые результаты его губернаторства. Минусы эпохи губернаторства Чичерина в основном связывались с методами, которые использовались для достижения этих целей. Огромные жертвы как среди русских колонистов, так и местного населения, неоправданная жесткость и жестокость управленческих методов, используемых губернатором Сибири, подчеркивают многие источники (от частного мнения сибирских историков С. Шашкова и Н. Ядринцева до фиксации определенного консенсуса в «Русском биографическом словаре» А. Половцева).

Эффектная метафора с внутренней рифмой («соля, – заселил») в цветаевской поэме также требует исторического комментария. Территории вокруг сибирской столицы Тобольска были освоены еще в XVII в. Тогда же были заложены остроги и города по Сибирскому тракту. Барабинская степь – последний оплот хана Кучума, через которую проходили пути в Восточную Сибирь, долгое время оставалась вне интересов российских колонизаторов. Немногочисленное коренное население этих земель состояло из барабинских татар, промыслами которых были охота и собирательство, и «юрточных бухарцев», издавна занимавшихся торговлей. Полукочевой характер жизни коренного населения, низкая плотность населения вкупе с нападениями степняков не только не обеспечивали безопасность транзита в Восточную Сибирь и Китай, но и ставили вопрос о фактической государственной принадлежности этих земель.

За время губернаторства Чичерина был полностью заселен Сибирский тракт – от Ишима до Красноярска и Иркутска. Добровольные переселенцы выбирались в основном из сибиряков, особые преференции предоставлялись отставным военным из нижних чинов (каждой семье выделялись 20–30 десятин земли и денежная ссуда), которыми была населена Красноярская линия. Барабинская линия в основном была населена принудительными переселенцами: крестьянскими семьями (с рекрутским зачетом), колодниками и беглыми, «которые оказались негодными для предположенных на защиту Сибири ландмилицких полков, отсылались на поселение в разные места для распространения хлебопашества». И наконец, еще в 1756 г. в Сибирь были отправлены «1 294

души мужского пола, отобранные от трех солепромышленников: Демидова, Суворцова и Ростовщикова» [Русский биографический словарь, 1905, с. 39–40]. Таким образом, характерная для системы поэтических рифм Цветаевой метаграмматическая игра «соля» / «селя» (по модели «беженство» / «бешество») имеет в том числе очевидное историческое основание.

Выводы. Пространственная энтропия не становится для художника модернистской формации препятствием в культурном освоении пространства, каждый поэт создает собственный образ сибирских степей исходя из доступного поэтического инструментария, синтезируя творческие методы. Оптику Константина Бальмонта формирует взгляд фланера, проехавшего через бескрайние сибирские просторы и отразившего в сибирском тексте общие места своей поэтики («дали» и «шири» были освоены Бальмонтом до поездки в Сибирь).

Марина Цветаева как художник пошла дальше. Исторические тексты она ощущала в качестве арены борьбы между историческим фактом и поэтическим образом. «Во мне вечно и страстно борются поэт и историк. Знаю это по своей огромной (неконченной) вещи о Царской Семье, где историк поэта – загнол» [Цветаева, 2016, с. 119], – напишет она в письме В.Н. Буниной от 28 августа 1933 г. При этом сам способ освоения пространства – наполнение природной пустоты, выбор наиболее сопротивляющегося эстетически материала, энтропийной Барабинской степи – поэтически заполняющейся кипуче деятельными людьми и стремительно мчащимися конями, – ожидаемо обнажает основную стратегию работы с реальностью, характерную для эстетических практик модернизма.

Библиографический список

1. Андреева-Бальмонт Е.А. Воспоминания. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1997. 580 с.
2. Бальмонт К.Д. Голубая подкова. Стихи о Сибири. Цветаева М.И. Сибирь. Новосибирск: Открытая кафедра, 2019. 58, 46 с.
3. Белый Андрей. Петербург. М.: Наука, 1981. 696 с.
4. Бицилли П.М. «Восток» и «Запад» в истории старого света // На путях. Утверждение евразийства. М.; Берлин: Геликон, 1922. Кн. 2. 358 с. URL: <http://nevmenandr.net/eurasia/1922-naputiah.php#1922-naputiah-PPS-tipu> (дата обращения: 10.10.2021).
5. Блок А.А. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Огонек, Правда, 1971. Т. 3. 414 с.
6. Волошин М.А. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак, 2007. Т. 5. 928 с.
7. Город Тобольск и его окрестности: исторический очерк / сост. К. Голодников. Тобольск: [Б.и.], 1886. 139 с.
8. Коркина Е.Б. Поэма о Царской семье // Wiener Slawistischer Almanach. Цветаева М. Статьи и тексты. Sonderband 32. Wien, 1992. С. 171–200.
9. Мароши В.В. Монгольский миф в русской литературе XX века // Вестник ТГПУ. 2003. Вып. 1. С. 48–54.
10. Русский биографический словарь / Издан под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А.А. Половцева. Спб.: [Б.и.], 1905. Т. 22. 642 с.
11. Савицкий П.Н. Степь и оседлость // На путях. Утверждение евразийства. М.; Берлин: Геликон, 1922. 358 с. Кн. 2. URL: <http://nevmenandr.net/eurasia/1922-naputiah.php#1922-naputiah-PPS-tipu> (дата обращения: 10.10.2021).



12. Святополк-Мирский Д. К вопросу об отличии России от Европы // Евразия. 1929. 23 февр. № 14. С. 1–2.
13. Словцов П. Историческое обозрение Сибири. М.: Тип. А Семена, при Медико-хирург. акад., 1838. Кн. 1. 589 с
14. Смит А. Между искусством и политикой (Рассказ М. Цветаевой «Китаец» в свете идей евразийского движения в Париже 1920–1930-х годов) // Марина Цветаева и Франция. М.: Русский путь, 2002. С. 178–195.
15. Сувчинский П. Типы творчества (Памяти А. Блока) // На путях. Утверждение евразийства. М.; Берлин: Геликон, 1922. Кн. 2. 358 с. URL: <http://nevmenandr.net/eurasia/1922-narutiah.php#1922-narutiah-PPS-tipu> (дата обращения: 10.10.2021).
16. Федотов Г.П. Три столицы // Версты. 1926. № 1. С. 147–163 (Подпись: Е. Богданов).
17. Цветаева М.И. Письма к Анне Тесковой. Болшево: Дом-музей Цветаевой в Болшево, 2008. 509 с.
18. Цветаева М.И. Письма. 1933–1936. М.: Эллис Лак, 2016. 816 с.
19. Цветаева М.И. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1990. 800 с.
20. Цветаева М.И. Стихотворения и поэмы: в 5 т. New York: Russica Publisher, inc, 1982. Т. 2. 419 с.
21. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М.: Наука, 1976. Т. 22. 655 с.
22. Шевеленко И.Д. К истории евразийского раскола 1929 года. П.Н. Савицкий <Меморандум 1929 г.> П.Н. Савицкий <Записка о П.П. Сувчинском> // Themes and Variations: In Honor of Lazar Fleishman. Stanford, 1994. P. 376 – 416.

Сведения об авторе

Корниенко Светлана Юрьевна – доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе, Новосибирский государственный педагогический университет; e-mail: sve-kornienko@yandex.ru

DOI: <https://DOI.ORG/10.25146/2587-7844-2021-16-4-94>

SIBERIAN STEPPE IN MODERN AESTHETIC PRACTICES (KONSTANTIN BALMONT – MARINA TSVETAEVA)

S.Yu. Kornienko (Novosibirsk, Russia)

Abstract

Statement of the problem. The problems of the article are addressed to the methods of cultural development of the vast Siberian steppes in Russian modernism, to the methods of overcoming cultural entropy.

The purpose of the article is to describe the parameters of the “steppe” texts by M. Tsvetaeva and K. Balmont, to identify their cultural genealogy.

Review of scientific literature on the problem is associated with solving specific problems: identifying ways of authorizing the Siberian text in the poetics of a particular author (works by A. Smith, E. Korkina, and V. Marosha).

Research results. The article is devoted to the Siberian texts by K. Balmont and M. Tsvetaeva. In the collection of works by Balmont entitled “Blue Horseshoe. Poems about Siberia”, the perception of the Siberian steppes is built around the concepts of “distance”, “width”, and “freedom”, characteristic of Balmont’s poetry, in principle. In Tsvetaeva’s poem “Siberia”, the steppe theme appears twice: in the exposition of the poem, and also in the second part (the image of the Barabinsk steppe). The sources of Tsvetaeva’s steppe imagery can be considered her individual perception Blok’s “Scythianism”, her direct empirical experience of experiencing the Crimean steppes, as well as her keen interest in the Eurasian theory at the time of writing the poem.

Conclusions. Spatial entropy does not become an obstacle for an artist of the modernist formation in the cultural development of space. Each poet creates his own image of the Siberian steppes, based on the available poetic tools, synthesizing creative methods.

Keywords: *Siberian text, steppe theme, Tsvetaeva, Balmont, “Siberia” poem, “Blue horseshoe. Poems about Siberia” collection of works.*

References

1. Andreeva-Balmont E.A. Memoirs. M.: Publishing House. Sabashnikov, 1997. 560 p.
2. Balmont K.D. Poems about Siberia. Tsvetaeva M.I. Sibiria. Novosibirsk: Otkrytaya kafedra, 2019. 58, 46 p.
3. Belyj Andrej. Peterburg. M.: Nauka, 1981. 696 p.
4. Bicilli P.M. “East” and “West” in the history of the old world // On the tracks. Approval of Eurasianism. M., Berlin: Gelikon, 1922. Vol. 2. 358 p. URL: <http://nevmenandr.net/eurasia/1922-naputiax.php#1922-naputiah-PPS-tipy> (access date: 10.10.2021).
5. Blok A.A. Collected Works: in 6 vol. M.: Ogonek, Pravda, 1971. Vol. 3. 414 p.
6. Chekhov A.P. Complete Works and Letters: in 30 vol. M.: Nauka, 1976. Vol. 22. 655 p.
7. Fedotov G.P. Three capitals // Versty. 1926. No 1. P. 147–163 (Signature: E. Bogdanov).
8. Korkina E.B. A Poem about the Imperial family // Wiener Slawistischer Almanach. Cvetaeva M. Articles and texts. Sonderband 32. Wien, 1992. P. 171–200.
9. Marosha V.V. Mongolian myth in Russian literature of the twentieth century // Vestnik TGPU. 2003. No. 1. P. 48–54.
10. Russian biographical dictionary / A.A. Polovcev. Spb., 1905. Vol. 22. 642 p.



11. Savickij P.N. Steppe and Settlement // On the tracks. Approval of Eurasianism. M., Berlin: Gelikon, 1922. Vol. 2. 358 p. URL: <http://nevmenandr.net/eurasia/1922-naputi-ah-PPS-tipy> (access date: 10.10.2021).
12. Shevelenko I.D. On the history of the Eurasian schism of 1929. P.N. Savitsky <Memorandum of 1929> P.N. Savitsky <Note about P.P. Suvchinsky> // Theames and Variations: In Honor of Lazar Fleishman. Stanford, 1994. P. 376–416.
13. Slovtsov P. Historical Review of Siberia. M.: Tip. A. Semyon, at the Medical and Surgical Academy, 1838. Book 1. 589 p.
14. Smit A. Between art and politics (M. Tsvetaeva's story "The Chinese" in the light of the ideas of the Eurasian movement in Paris 1920–1930s)] // Marina Tsvetaeva and France. M.: Russkij put', 2002. P. 178–195.
15. Suvchinskij P. Types of creativity (In memory of A. Blok) // On the tracks. Approval of Eurasianism. M., Berlin: Gelikon, 1922. Vol. 2. 358 p. URL: <http://nevmenandr.net/eurasia/1922-naputi-ah-PPS-tipy> (access date: 10.10.2021).
16. Svyatopolk-Mirskij D. On the question of the difference between Russia and Europe // Evraziya. 1929. February 23. No. 14. P. 1–2.
17. The city of Tobolsk and its environs: a historical outline / Ed. by K. Golodnikov. Tobolsk, 1886. 139 p.
18. Tsvetaeva M.I. Letters to Anna Teskova. Bolshevo: Dom-muzej Cvetaevoj v Bolshevo, 2008. 509 p.
19. Tsvetaeva M.I. Poems and poems. L.: Sovetskij pisatel, 1990. 800 p.
20. Tsvetaeva M.I. Poems and poems: in 5 vol. New York: Russica Publisher, inc, 1982. Vol. 2. 419 p.
21. Tsvetaeva M.I. Letters. 1933–1936. M.: Ellis Lak, 2016. 816 p.
22. Voloshin M.A. Collected Works. M.: Ellis Lak, 2007. Vol. 5. 928 p.

About the author

Kornienko Svetlana Yurievna – DSc (Philology), Professor, Department of Russian and Foreign Literature, Literary Theory and Literary Methods, Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, Russia); e-mail: sve-kornienko@yandex.ru